

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Б48

Серия «XX век / XXI век — The Best»

Anthony Burgess

THE RIGHT TO ANSWER

Перевод с английского *Е. Калявиной*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается при содействии литературных агентств
David Higham Associates и The Van Lear Agency LLC.

Бёрджесс, Энтони.

Б48 Право на ответ : [роман] / Энтони Бёрджесс ;
[перевод с английского Е. Калявиной]. — Мо-
сква : Издательство АСТ, 2020. — 288 с. — (XX
век / XXI век — The Best).

ISBN 978-5-17-121068-7

Англичанин Энтони Бёрджесс принадлежит к числу культовых писателей XX века. Мировую известность ему принес скандальный роман «Заводной апельсин», вызвавший огромный общественный резонанс и вдохновивший легендарного режиссера Стэнли Кубрика на создание одноименного киношедевра.

В захолустном английском городке второй половины XX века разыгрывается трагикомедия поистине шекспировского масштаба.

Начинается она с пикантного двойного адюльтера — точнее, с модного в «свингующие 60-е» обмена брачными партнерами. Небольшой эксперимент в области свободной любви — почему бы и нет? Однако постепенно скабресный анекдот принимает совсем нешуточный характер, в орбиту действия втягиваются, ломаясь и искажаясь, все новые судьбы обитателей городка — невинных и не очень.

И вскоре в воздухе всерьез запахло смертью. И остается лишь гадать: в кого же выстрелит пистолет из местного паба, которым владеет далекий потомок Уильяма Шекспира Тед Арден?

**УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44**

© International Anthony Burgess
Foundation, 1960

© Перевод. Е. Калявина, 2020

© Издание на русском языке AST
Publishers, 2020

ISBN 978-5-17-121068-7

Глава 1

Я рассказываю эту историю по большей части ради собственного блага. Мне самому хочется уяснить природу того дерьма, в котором, похоже, пребывает множество людей в наши дни. Мне не хватает интеллектуальной оснастки, опыта, и я не владею терминологией в достаточной степени, чтобы сказать — социальное ли это дерьмо, религиозное оно или нравственное, но его присутствие несомненно — присутствие в Англии и, по всей видимости, на «кельтской окраине», по всей Европе, да и в Америке тоже. Я способен унюхать смрад этой клоаки, в отличие от тех, кто никогда не эмигрировал из нее, — тех добрых человечков, которые при своих телеящиках, забастовках, футбольных тотализаторах и «Дейли миррор», обладают всем, что их душе угодно, за исключением смерти — поскольку я всего четыре месяца провожу в Англии, теперь каждые два года, и всякий раз зловоние бьет мне в нос, распространяясь в теплом воздухе, сразу после приземления и недель шесть после того. Затем помалу гнилостный дух ползет вверх, подобно туману, обволакивающему поезд, и я, зевая у телевизора в домике моего отца и приходя изредка в паб за пять минут до открытия, ощущаю проклятие, разношенное, как пара башмаков, я сам становлюсь гражданином этой клоаки, и единственное мое спасение — необходимость сесть на самолет БОАК в лондонском аэропорту или отправиться в круиз «Пи-энд-Оу» — Кантон-Карфаген-Корфу — из Саутгемптона и тем самым сократить мое пребывание в Англии.

Сейчас я чувствую себя так, словно в каждой руке у меня по сэндвичу и я не знаю, от которого откусить сначала. Мне хочется побольше рассказать вам об этом дерьме и одновременно хочется, чтобы вы узнали, как же так вышло, что у меня (мне это частенько говорят) такая завидная житуха — два года солнца или по меньшей мере экзотики и необременительной работы с последующими четырьмя месяцами изоляции и достаточно нагулянный аппетит, чтобы прожевать внушительный пудинг, именуемый тоской по отчужденному дому. Этот большой пышный пудинг — не такая уж и тяжелая пища, сплошные фрукты и никакой муки, это длинный перечень развлечений в «Ивнинг стэндард», путешествие — теплое темное пиво в корабельном баре — из Ричмонда в Вестминстер, вечернее надиралово в полуподпольных клубах размером с сингапурский туалет (сверкающая в электрическом свете струя мочи после бесчисленных «еще по одной», мною заказанных), танцующие под музыкальный автомат мужские жены, которые не прочь порезвиться, пока их не умчит такси в шесть часов (в электродуховке с таймером как раз поспела запеканка для благоверного), и все такое прочее. Любой, кстати, кто завидует моей завидной двойной жизни, любой, кто достаточно молод, мог бы и сам попробовать так пожить. Колониальных гражданских служащих повсюду пруд пруди, но торговые компании по-прежнему страстно предпочитают блестящих молодых людей (хорошее образование не обязательно, но желательно, приветствуется правильное произношение, светлые волосы), чтобы продавать бриллианты, сигареты, мотороллеры «Ламбретта», цемент, швейные машины, лодочные моторы, очищающие воздух растения и ватерклозеты в тех жарких странах, которые только что добились своей бóрьзой независимости. Я уже давно не «блестящий молодой человек», но компания явно все еще находит меня полезным. (Я начитан, читаю за поем. Я могу быть очаровашкой, могу пить что угодно). Мне даже разрешено за счет компании раз в два года

летать из Токио и обратно на удобно откидывающихся сиденьях первого класса (мне уже за сорок, и я путешествую «по-стариковски»). Пройдут годы, и я удалюсь на покой, хотя один Бог знает, где это будет, с весьма солидной пенсией. Кстати, меня зовут Дж. У. Денхэм.

Ну а теперь — второй сэндвич, но в него так просто не вгрызешься. Пообкусываю по краям, ведь зубы-то уже не те. Сразу по прибытии, в поездной копоти и гоготе аэропортового бара я вступаю в послевоенное английское дерьмо. Оно возникает от избытка свободы. Наверное, это звучит глупо, если поразмыслить о том, как мало свободы осталось в современном мире, но мои рассуждения не о свободе политической (не о праве кастрировать правительство в местном пабе). Я не считаю политическую свободу такой уж важной, во всяком случае, она важна для одного процента общества, не более. На востоке меня забавляло то, как граждане новоиспеченных независимых территорий, задрав штаны, бежали в страны, по-прежнему стонущие под британским ярмом. Им не нужна была никакая свобода, они хотели стабильности. Нельзя иметь сразу и то, и другое.

Я здесь не проповеди читаю, я хочу рассказать историю, но не могу обойти стороной эту тему. Действительно, невозможно иметь и свободу, и стабильность одновременно. То, что отвечает за стабильность, неосяземо, но, утратив ее, начинаешь страдать. Думаю, сама идея принадлежит Гоббсу*, но теперь я поминаю сию фамилию с большой опаской из-за обычного дурацкого недоразумения, случившегося как-то вечером в клубе, когда все подумали, что речь о крикете**.

Вы страдаете от дерьма, великого демократического дерьма, где нет ни иерархии, ни шкалы ценностей, и все настолько же хорошо, насколько все плохо.

* Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ, создатель теории гражданского общества.

** Сэр Джон Берри «Джек» Хоббс (1882–1963) — английский профессиональный игрок в крикет.

Однажды мне довелось прочесть научную статью, в которой утверждалось, что идеальный порядок возможен только при низких температурах. Выньте продукт из морозилки, и он вскоре испортится. Он вырвался из цепких лап холода, державших его в узде, и теперь становится весьма динамичным, бурлит и пенится, как политический митинг, но приходится его выбросить. Это дерьмо. Но весь ужас в том, что можно употребить тошнотворный продукт в пищу, съесть дерьмо. Правда, от этого недолго и очокуриться. Митридат, пожалуй, единственный ядоед, который дожил до старости*. Надругавшийся над стабильностью долго не протянет.

В начале моего повествования я проводил очередной отпуск в пригороде довольно большого и чопорного города одного из центральных графств, куда мои родители переехали после того, как отец ушел на пенсию (он был типографом в Северном Уэльсе), переехали в основном по настоянию моей сестры, муж которой руководил школой в нескольких милях от города. Мать умерла внезапно, в самый разгар моего рабочего срока (я присматривал за филиалом компании в Осаке), и я даже не смог приехать на похороны. Отец и сестра никогда не любили друг друга, и Берил была истинной маминой дочкой. А ко мне мама не питала теплых чувств с тех самых пор, как, еще в Северном Уэльсе, когда мне было шестнадцать, застучала меня в сарае с девчонкой, жившей через три дома от нас. Позор, бесчестие и т.п. Как бы там ни было, Берил получила в наследство мамины восемьсот фунтов и вложила их в липовый коттедж в деревне в двенадцати милях от бедного старого овдовевшего отца. Сестрицу свою

* Античная легенда, повествующая о смерти понтийского царя Митридата, говорит, что царь, проигрывая изматывающую двадцатипятилетнюю войну с Римом, был в конце концов предан всеми. Пытаясь избежать пленения и позора, правитель Понта принял яд, но тот не подействовал из-за выработанного с детства иммунитета — Митридат всю жизнь принимал яды, чтобы избежать отравления.

я всегда терпеть не мог. И однажды выучил наизусть стихотворение какого-то графомана о женщине того же сорта по имени Этель, заменив Этель на Берил. Помню две строфы оттуда:

Берил — всем дочкам дочерь! Всегда и везде
Склизкая верность дочерняя сочится
Из мяса, отмытого ею в жирной воде,
Из пирога, на который и кот не польстится.

Чрево и мать станут прахом сполна.
Потерю сию восполнить есть ли средство?
Стало быть, из почтения дочь должна
Прибрать к рукам все наследство*.

Я не огорчился. У меня в банках Гонконга и Шанхая денег больше, чем Берил когда-нибудь сможет увидеть в своей жизни. Я о том, что она, конечно же, переживет меня, но *моих* денег ей не видать.

Мой овдовевший отец так и застрял в этом захолустном доме, который он никогда не любил. Он готовил себе сам, переложив прочую хозяйственную доуку на приходившую раз в неделю востроносую женщину, которая всякий раз громко пыхтела, вытряхивая половики. Отец не знался с местной общиной, но считал бессмысленным переселяться куда бы то ни было. Только громоздкий дубовый стол был выселен из отцовского «логова» наверху — выселен через окно, одно это уже было великим свершением — даже опосредованно — для человека его лет. Он заботливо расставил книги (тут было несколько раритетных изданий, которые он сам и набирал), хотя на самом деле книгоцеем отец не был никогда. Если он говорил, что некая книга «прекрасна», это касалось только полиграфии. Он вбил поглубже в стены дюбеля для крюков, на которых развесил свои картины (Милле, Холман Хант, Роза Бонёр).

* Все стихи, если об этом не сообщается отдельно, даны в переводе Елены Калявиной.

Здесь ему было не лучше и не хуже, чем в любом другом месте. Чуть погода он снова увлекся гольфом. Владелец маленькой фабрики, работник местного супермаркета или коммивояжер, торгующий медицинским оборудованием, подвозили его воскресными утрами на игру. А в воскресенье пополудни он играл в шарики с викарием высокой церкви*. У отца вошло в привычку каждый вечер к девяти ходить в «Черный лебедь», чтобы выпить полторы пинты горького эля и обсудить с друзьями по гольфу спортивные телепрограммы. Викарий появлялся в пабе лишь раз в неделю — воскресным вечером после службы, прямо в облачении; он опрокидывал пинту, приговаривая: «Господи, до чего иссушает эта работа!» Мне думается, что так он старался подчеркнуть свою принадлежность к высокой церкви.

«Черный лебедь» среди местных жителей был известен как «Флаверов козырь» (вероятно, камешек в огород пивовара Флауэра** из Стратфорда-на-Эйвоне). И совершенно закономерно, что владел этим пабом некий Арден из деревушки неподалеку от Уиллкоута — той самой, откуда была родом Мэри Шекспир, в девичестве Арден, дочка тамошнего фермера. Стоило только взглянуть на Теда Ардена, чтобы увидеть, что Уильям наш Шекспир и ликом, и челом (если уж не тем, что под этим челом) удался в Арденов. Крепкая ветвь, эти Ардены, а вот Шекспиры, по всей видимости, жидковаты оказались. И брови, выгнутые, как скрипичные эфы, и ранние залы-

* Высокая церковь (High Church) — название одной из трех партий в англиканской церкви. В отличие от низкой (Low Church) и широкой (Broad Church), из которых одна строго держится протестантского взгляда на церковь, как она определяется в символических XXXIX членах веры англиканизма, а другая впадает в мистицизм, граничащий с рационализмом, высокая церковь на первый план выдвигает идею церкви как богоустановленного общества, имеющего строгую иерархическую организацию и обладающего особым, от апостолов унаследованным, священным авторитетом.

** Чарльз Эдвард Флауэр (1830—1892) — пивовар и филантроп, построивший Шекспировский мемориальный театр в 1864 году — в ознаменование 300-летия со дня рождения Шекспира.

сины, и глаза с развесистыми веками — все у Теда Ардена было точь-в-точь как у Шекспира на самом известном его портрете, а еще хозяин паба был наделен особым обаянием, которое, невзирая на неистребимый милдендский говор, почти полную неграмотность и отсутствие многих зубов, определенно открывало ему все двери — фамильное обаяние Арденов, наверняка его унаследовал и сам Шекспир. Люди любили делать Теду приятное: коммивояжеры привозили ему из Лондона заливных угрей; диковинные настойки, наливки и наборы подставок под кружки попадали к нему прямо с «континентальных» ярмарок; косматые тертые калачи — завсегдатаи бара — притаскивали ему диких кроликов, уже ободранных и потрошенных («Ты взглянь, скока жира у их вокруг почек-то!» — говаривал Тед восхищенно). Именно обаяние добыло ему жену, которая, как говорится, была леди до самых кончиков ногтей. Вероника Арден обладала патрицианским голосом, звеневшим, словно ключ в часы закрытия. По-мальчишески худошавая, белокурая, без единой сединки в свои сорок шесть, она напоминала пучеглазого юного поэта. Какие-то неведомые болезни изнуряли Веронику, она перенесла несколько операций, о которых не распространялись. Когда поздним вечером она появлялась за стойкой (ровно за час до сутолоки перед закрытием), мужчины, сидящие за столами, вздрагивали, как будто чувствуя, что обязаны встать — так она действовала на людей. А когда она, одетая для Ежегодного бала лицензированных рестораторов — в роскошном платье и драгоценностях, в меховой накидке на плечах, — ожидала, пока Тед подгонит автомобиль, у тебя возникало такое ощущение, что она оказывает тебе слишком большую честь — если кто и шлепнул там или сям пару лишних пенсов за бочковое пиво, то я очень сомневаюсь, чтобы хоть раз он на то посетовал.

Супруги Арден были душой, сущностью этого паба. В те вечера, когда им приходилось отлучаться, заведение оставалось на попечение безобидного малого, приветливого, как ледник, и тогда становилось тем, чем было

на самом деле: трактиром — пристанищем безотрадных горластых пьяниц, с нужником во дворе, куда частенько приходилось прогуляться под дождем, с неистребимой рыбной вонью в «лучшем зале», сочащейся из хозяйской квартиры наверху, поскольку Тед обожал рыбу и готовил ее себе ежедневно. При Теде этот рыбный запах обретал лоск — было в нем что-то раблезианское или что-то, напоминающее о бесшабашных морских портах. А в его отсутствие запах был просто вульгарен — как пердеж губами или древнеримский сигнал, заунывный, словно тягучее органное остинато. Рыба была еще одним подношением Теду от посетителей — дуврская камбала, палтус, копченая селедка («Сто лет как их не едал, моих рыбочек»). Однажды я пригласил супругов на обед в отеле в Рагби и познакомил Теда со скампи — крупными креветками, обжаренными в панировке. Он был потрясен — новый мир открылся перед ним. Попивая кофе с бренди, он заметил:

— Скампи ихние просто охеренно изумительные.

— Эдвард, окстись, — укорила его Вероника, — ты сейчас не в общем баре!

— Извиняюсь, голубушка, но они взаправду такие и есть! — и продолжил, идя к машине: — Утречком я первым делом сяду на телефон. Охеренно изумительные. Закажу себе этих скампиев к ланчу.

Было большим удовольствием услужить Теду. Он всегда умел быть благодарным. Можно понять, почему Шекспир так хорошо ладил с графом Саутгемптоном*.

«Черный лебедь» стоял в эпицентре разлагающейся деревни, грязного пятнышка, которое оплетал жемчужно-чистенький пригород. Деревня скукожилась до того, что стала меньше акра. Она походила на крошечную резервацию аборигенов. Имбецилы злобно пялились сквозь немытые окна на клочки травы; день-

* Генри Ризли, 3-й граф Саутгемптон (1573–1624) — один из покровителей Уильяма Шекспира, один из предполагаемых адресатов сонетов Шекспира.

деньской распевали петухи; маленькие девочки в передничках из прежних эпох обхрумкивали огрызки яблок; казалось, что у всех местных мальчишек «волчья пасть». И все же эта деревня казалась мне куда здоровее, чем окружающий ее пригород.

Кому дано описать величие этих подпирающих друг друга боками многоквартирных домишек, эту штукатурку с вкраплением серой гальки на торцевых стенах, эти калитки, которые запросто можно перешагнуть, этих глиняных истуканов в игрушечных садиках? Этот ветер, пронизывающий все пространство вокруг, ветер древнего холма, погребенного под слоями щебня, ветер хлесткий, будто край мокрого полотенца. Он перемешивал серый бульон над красными крышами, и в этом супе бурлили телеантенны, похожие на макаронные изделия в виде больших букв: X, Y, H, T...

Был воскресный вечер. Мы с отцом угорали от газового камина в гостиной, поклевывая носами перед голубым экраном. У отца теперь было целых два телеканала на выбор — недавнее нововведение, — и мы переключились с бибисишной викторины на коммерческий канал, восхваляющий жесткие действия американской полиции. Отец не стал покупать специальную новую антенну, но коммерческий ретранслятор оказался неподалеку, так что и прежняя одноканальная антенна ловила его сигнал довольно легко. Одна беда — все передавалось в удвоении. В шаге за спиной у каждого персонажа находился его *Doppelgänger* — его второе «я». Местные электрики утверждали, что все из-за шпиля деревенской церкви — он, словно передатчик некоего враждебного государства, все искажал, и коверкал, и путал. Не то чтобы электрики особенно пеняли на шпиль, нет, они просто советовали жителям заменить антенны. Мой отец, имея в партнерах по гольфу настоятеля высокой церкви, вообще не обращал на помехи особого внимания, да и зрение у него сдавало.

Фильм о жестокости полиции закрутился послесловием бугая-полицейского в фетровой шляпе. Он сооб-

шил нам, что полицейские подразделения Штатов нам друзья, и долг каждого честного американца содействовать им в напряженных усилиях, направленных на то, чтобы стереть с лица земли кокаиновый трафик. Потом мартышки рекламировали чай, потом был балет мыльных хлопьев, какая-то дурында с «конским хвостом» на голове заглатывала целиком шоколадку и стонала: «Оооооо!» От газового чада из камина у меня наступило помрачение, мне явственно почудилось, что мой слуга-японец трясет меня за плечо и говорит: «Господин, проснитесь!» Я сбросил с себя новоанглийское наваждение и как раз, когда дебильно-радостный голос дикторши объявил: «А теперь вы увидите его живьем! Итак, вместе с Харви Гринфилдом у нас...» — выключил телевизор. Голос иссяк, а изображение ведущей перевернулось, точно игральная карта. Отец качнулся, закашлялся всем телом (было такое впечатление, что этот кашель расплющивает его, будто паровой молот) и вышел в прихожую за шляпой и плащом. Шляпа у него была старомодная, с плоской тульей и загнутыми кверху полями, а карманы плаща пузырились, набитые полупустыми сигаретными пачками, спичечными коробками и грязными носовыми платками. Он и в самом деле нуждался в присмотре. Я вышел в столовую за мундштуком, к которому недавно приохотился, и вот отец вернулся в переднюю, уже одетый, чтобы посмотреть, готов ли я. Окурки сигареты догорал у самых его губ — длинный хвост пепла вот-вот опадет на ковер. Таинственное явление, которое я так и не сподобился постичь: он мог выйти из комнаты без сигареты, а вернуться секунду спустя с крохотным бычком, припекающим губы. Это было похоже на топорный монтаж кадров в кинофильме.

Вероятно, у него просто было пагубное пристрастие к бычкам, только ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как он их прикуривает. Я не знаю. Мой отец был частью Англии, а Англия, наверное, самая загадочная страна на свете. Мы вышли молча, оставив пепел на ковре, горячую желтую пещеру в камине, барометр, стукнувшийся

о стену от порыва влажного деревенского воздуха. Отец с особой тщательностью запер дверь, а потом спрятал ключ под коврик, кряхтя и отдуваясь по-стариковски. Мы свернули на Клаттербак-авеню, мимо почтового ящика — вещественного напоминания о большом мире, навстречу морозящему дождю, слегка запыхавшись, потому что улица шла немного в гору (странно было вспоминать, что вообще-то Клаттербак-авеню на самом деле была холмом), а потом резко забрали вправо на булыжную тропку, ведущую к старой деревне. Старая деревня прицепилась к нам, как проститутка, едва мы завернули за угол. А потом показался и «Черный лебедь», он же «Гадкий селезень», он же «Флаверов козырь».

Традиционные «семь потов» и неуют воскресного вечера в пабе в одно мгновение крепко саданули нам в глаза и глотки. Симпатичный развозчик молока, работающий здесь официантом по выходным, в галстук-бабочке и короткой зеленой куртке, исполненный рвения и достоинства, как раз доставлял поднос с грушевым сидром к столику у дверей. Отец тяжело прокашлялся, будто прочищая горло, и жестокая буря пронеслась в стаканах газированного сока. Но встретили отца довольно сердечно.

— Добрый вечер, Берт.

— Вечер добрый, мистер Денхэм.

— Как там житуха-то, старина?

— Телик сегодня что-то малость барахлит, да, Берт?

Гольфистов, сидящих за столиком у дверей, постоянно освежали порывы холодного ветра, когда приходили новые посетители вроде нас с отцом. Лучшие столики — по центру и теплые столы у огня занимались еще с самого открытия. Отцовские корешки потеснились, и он уселся на табуреточку, извлеченную из укрытия под столом, а я втиснулся между двумя незнакомцами на длинной скамье, подпирающей одну стену. Налетел рьяный в своей службе официант, и я заказал на всех. Так правильно, так заведено. Я был возвратившимся на родину набобом. Гольфист-коммивояжер по медтехнике сказал: